

Содержание

Предисловие	7
I. Ожидание	11
II. Встреча	31
III. Тайна	55
IV. Любовь	71
V. Рост	95
VI. Род	117
VII. Воспоминания	135
VIII. Игра	153
IX. Разлука	167
X. Дедушки и бабушки	185
XI. Познание	199
XII. Общение	215
XIII. Заповедь	225
XIV. Вина	241
XV. Слова и шаги	261
XVI. Новая жизнь	281
Послесловие. Олин вопрос	293
Священник Владимир Зелинский.	
Отцовство как исповедание	295
Указатель имен и мотивов	301

*...Отцы семейств, эти великие авантюристы
современного мира.*

Шарль Пегги

Предисловие

Эта книга — о начале жизни, о первых двадцати месяцах: с момента, когда отец впервые слышит бие-ние новой жизни в животе матери, — и до момента, когда подросшая дочь начинает ходить и говорить и родители решают завести второго ребенка. За это время происходит становление бытия из небытия — со многими приключениями, любовными коллизиями и трагедией взросления и отчуждения.

Авторы, пишущие о детстве, обычно обходят стороной или торопливо минуют самое его начало, как не выраженное в языке и не закрепленное в памяти ребенка. (Из всей русской литературы, кажется, только Сергей Аксаков и Иван Бунин оставили несколько драгоценных страниц¹.) Однако младенчество не

¹ Аксаков С. Т. Детские годы Багрова-внука, глава «Отрывочные воспоминания»; Бунин И. А. Жизнь Арсеньева, книга первая, главы 2–5.

прячет своих тайн, напротив, хочет раскрыться, для чего и приходит в этот мир, нуждаясь лишь во встречном движении нашего слова. Именно потому, что младенец не умеет говорить, вся ответственность за открытие смысла в его молчании ложится на близких.

Никакая другая ответственность не дарит столько удивительных привилегий, как эта. Перед нами словно бы выход в иное измерение. Не нужно никаких фантазий — достаточно дневника, чтобы обнажилась явь того опыта, который описывался мистиками всех времен, но в терминах более отвлеченных и туманных, чем реальность младенчества. Отцовство — ближайший и доступный каждому человеку, независимо от профессии и таланта, опыт прямой сопричастности миротворению. Становясь отцами, мы начинаем постигать тайну создания нас самих. Предварить эту книгу хочется словами апостола Павла: «Совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его» (Кол. 3: 9–10). Рождая и постигая новорожденное во всей его поражающей новизне, отец сам обнаруживает в себе образ предвечного Отца — и обновляется по этому образу вместе со своим творением.

Однако у этого преображения есть и другая сторона. Именно «сверхчеловеческое» в отце подвергает его множеству искушений, одно из которых — возвысить себя по отношению к ребенку до Отца

ПРЕДИСЛОВИЕ

с большой буквы. Философ Габриель Марсель спрашивал: «До какой степени отец может и должен воспринимать себя так, как если бы сам Бог наделил его властью над детьми?»² Таков один из главных вопросов этой книги³.

² *Marcel Gabriel. The Creative Vow as Essence of Fatherhood / Homo Viator : Introduction to a Metaphysic of Hope*, trans. Emma Craufurd. Chicago : Henry Regnery, 1951. P. 122. Ответ самого Марселя дан с позиций католического экзистенциализма: «Я могу наделить существованием кого-либо другого не более, чем самого себя... Наш ребенок принадлежит нам не больше, чем мы принадлежим себе, и следовательно, он существует не ради нас и более того — не ради самого себя» (там же, с. 120). Эссе Габриеля Марселя «Творческий обет как сущность отцовства» — один из немногих опытов расширительного толкования биологического отцовства как теологической категории.

³ Эта книга писалась в Москве в 1979–1980-х годах. Я благодарен Елене за совместные размышления, из которых рождались многие записи. Я признателен своим детям, Оле и Мите, за то, что в конце 1990-х годов они набрали текст этой книги на компьютере.

I

ОЖИДАНИЕ

Мужская опустошенность есть такой же способ вынашивания плода, как женскаяотягощенность; взамен дана нам легкость тела, как им – воспарение души.

1

5 февраля 1979 года. Наконец я услышал его. Это случилось на девятый день пятого месяца. Прильнул к животу. Сразу мне показалось, что тишина не такая, как раньше, — не сплошная, но полая, чуткая, будто в ней кто-то затаился. Еще вчера там была наполненность материнским, посюсторонним и звуки раздавались *отсюда* — хлопающие, сосущие, это работал организм беременной. А сегодня пропало это ощущение близкого: там все расступилось и возник гулкий простор — молчащий, то есть способный заговорить. И мне так захотелось еще послушать это молчание, что я опять прильнул к животу.

И услышал. Если бы раньше, почти ежедневными вслушиваниями, я не приучил ухо к столь глубокой, бездонной тишине, то и не воспринял бы сейчас этого звука. Он дошел до меня на самом кончике слуха, почти неотличимый от шума моей же крови в ушах.

Больше всего это похоже на дыхание, только не стиснутое узостью горла и ноздрей, а вольно веющее по всему пространству; или на ветер, вдруг одушевившийся, обретший размеренность вдоха и выдоха. *Дух носился над водами... и тьма над бездною.* Что начало всемирного творения именно таково, я мог бы

ОЖИДАНИЕ

подтвердить всем слухом моим: там была бездна, и она дышала (о водах и тьме не приходится и сомневаться). Упругое набухание и опадание звука, прилив и отлив...

Что звук — волна, я тоже постигал впервые. То был, очевидно, шум его крови, уже циркулирующей в целостности организма. Значит, он стал собой, его жизнь уже выдает себя отдельным, узнаваемым звуком среди множества звуков материнского тела. Впервые он стал различим для меня, единствен.

Еще столь далек был этот звук, ощутимый на самом дне тишины, как тишайшее в ней, что поминутно я терял его и уже не знал, что слышу: кровь младенца или свою, тем громче приливающую к ушам, чем глубже я погружался в безмолвие.

И все-таки на самой границе слуха то и дело прорастала тишина, а за ней — четкий и мерный, словно бы обведенный в пустоте звук, гораздо более достоверный, чем размытый шум в ушах.

Так трудно через отцовский слух нарождалось дитя — но все же, наверно, не труднее, чем через материнскую плоть.

2

Что испытывает отец в эти девять месяцев ожидания, если он хочет и любит ребенка, — восторг, торжество? Нет же! В материнской утробе все полнится и набухает, наливается силой, а во мне — окаянная пустота, ноющая и сосущая. Такой тоски и ощущения

бессмыслицы, как в эту долгую зиму, я не знал никогда... Работа из рук валится, сколько ни принуждаю себя, — и ведь последние житейски свободные месяцы, когда дано безмятежно работать. Но не отпускает дремотная праздность: чтение ненужных книг и газет, рассеянные взгляды в окно, шатание по квартире. Я даже задумал сочинять, обобщая свой зимний опыт, «Записки о хандре», но хандра-то и отбила меня от этого замысла. Я, впрочем, собирался показать, что хандра — это ощущение времени в его чистоте и незанятости, противоположность «заботе», которая всегда забегает вперед времени и укорачивает его. Мне же сейчас некуда избыть его, это равнинное, плоское, тягучее время, когда вся природа в трудах и хлопотах за меня, а я оставлен праздным соглядатаем. Жду, томлюсь, поглядываю на часы...

И особенно тяжело ощущать себя бесплодным рядом с Л., у которой новое ее положение вызвало небывалый духовный подъем. Она и трудится, и понимает, и вдохновляется вдвое больше обычного, словно эта вторая жизнь и ее за собой позвала и обновила. У меня же, наделенного не меньшей радостью, совместным ожиданием, что-то отнято, и весь я скомкан и отброшен, как лишнее, не идущее к делу. И не у меня одного такое упадочное переживание первых отцовских радостей. Недавно были у нас в гостях две четы, тоже ожидающие ребенка. Матери хлопотали на кухне, а мы, трое зрелых, бодрых и деятельных мужчин, обсуждали ощущения своего предстоящего отцовства.

И глубину тайны почувствовали в том, что нас объединяло, в этой беспричинной тоске жить, когда жизнь удваивается... Жены, с их покоем и торжеством, не могли разделить нашего душевного бремени, как и мы не могли разделить их плотское бремя. Захотелось понять причину этой нашей общей подавленности. Разве не справедливо, что мы в душе носим ту тяжесть, какую они — во чреве? Мужская опустошенность есть такой же способ вынашивания плода, как женская отягощенность; взамен дана нам легкость тела, как им — воспарение души. Таков наш способ соучастия в делах природы: в ношении — как в зачатии. Нам — отдавать и опустошаться, им — принимать, чтобы порождать из себя избыток в жизнь. И если покидает нас в это время и воля, и работоспособность, то роптать на это столь же нелепо и смешно, как на потерю семени во время зачатия. Еще древние заметили, что за соитием всегда следует тоска — малая смерть, пустота саморастраты. Но ведь беременность — это и есть продолженное соитие, отдача мужского женскому уже в становлении третьего, — соитие, растянувшееся на девять месяцев, и потянувшаяся вслед за ним небывалая тоска...

3

А весной, когда ждать оставалось всего два-три месяца, у нас с Л. началось общее уныние. Очень уж мы одинокими себя почувствовали — без него. Он жил уже своей отдельной жизнью в Л. — шевелился,

толкался, а мы были еще далеки от него и томились в этой странной разлуке. Л. тоже стала переживать свою растущую обособленность. Ведь для матери рождение ребенка — это не только встреча с ним, но и в каком-то глубочайше плотском смысле расставание на всю жизнь. Я-то и раньше стоял в стороне, а теперь и Л. начала отстраняться — мы с ней вдруг составили компанию одиноких. Так нарастает чувство одиночества в праздник, когда все высыпает на улицу, а ты остаешься дома. По мере того как все оживленнее становилось *там*, где бурлило и вскипало что-то неведомое, нам становилось все тоскливее быть только вдвоем. Мы скучали — а *там* шла настоящая жизнь. И насколько медленнее тянулись наши дни в сравнении с пролетавшими *там* столетиями!

Это чувство несоизмеримости его и нашего миров — гораздо сильнее, чем обыкновенная возрастная тоска, умиление цветущим детством и сожаление о своем увядании. Перед младенцем ощущаешь свою немолодость, перед нерожденным — свою нежизнь. И потянуло нас прочь отсюда — забыться, уехать, томительное время разменять на мелочь мелькающего пространства. Мы воспользовались испытанным способом развеять тоску — чайльд-гарольдовским, онегинским, с той только разницей, что они ощущали себя одинокими перед небытием, а мы вдвоем — перед инобытием третьего. Но тоска предсмертная и предродовая — много общего в этом ощущении собственной ненужности, в нервном ожидании, в стремлении

рассеяться. А тут еще и весна в городе никак не начиналась — стояла уже середина апреля, но за окном мглоило, шли мокрые снега, и эти предродовые тяготы природы сгущали томление, бередили и растрavляли. Вот мы и задумали поехать навстречу весне, как бы ускоряя ее приход и тем самым внутренне приближаясь к развязке.

На седьмом месяце ожидания мы из Москвы переехали в Ригу, чтобы оттуда начать планомерный спуск к югу — вплоть до Батуми, где очутились уже на восьмом месяце. От Балтийского моря до Черного, от рижской склизи и ледяной изморози — через пасмурный Минск, талые Сумы, зеленеющий Харьков, пыльный Ростов, цветущий Геленджик — до лазорево-теплого, млеющего на солнце Батуми: тут вся география должна читаться как биография наша. Потому что внутри, в этой зарождающейся жизни, все менялось так же быстро, как и снаружи, — и тоже теплело, оживлялось, расцветало, как символы незримого, чревного.

И в этом стремительном путешествии, где каждому городу отводилось всего день или два, дорога горела под ногами, виды слипались и прикипали к зрачкам, — мы вдруг умиротворились. Наконец-то нашли способ существования, достойный младенца, соразмерный ему! Мы перестали извне наблюдать за его неукротимо стремящейся жизнью — и пустились вдогонку, если не поравнявшись, то сблизившись с ним в этой жажде обновления. Какое-то взаимодействие — поступок в ответ на поступок — установилось между

нами. Он мчался через века, мы — через города и селенья; мы отставали от него во времени, зато увлекали за собой в пространстве.

Это соперничество с ребенком в скоростях, в завоевательном и победоносном чувстве жизни — не было ли оно предвестием будущих ревностей и распрей между внутрисемейными поколениями? Кто знает! Но сейчас главным было дать ему то, чего он, так уверенно растущий и берущий все от природы, не смог бы взять сам. Уже не ждать, когда он захочет встретиться с нами, — самим готовить эту встречу, открывать ему мир, прежде чем он головкой пробьет туда дорогу. Когда мы решали, какой город ему показать, какой цвет и образ забросить ему в подсознание, какой звук поселить в его памяти, когда мы выбирали красивые места для прогулок, добрых людей для беседы, создавая мир его будущих воспоминаний и смутных узнаваний, — мы были уже не вдвоем, а втроем, мы воссоединялись с ним. Мы уже не только слышали его — мы вступали в общение с ним. Такая у нас перед его рождением состоялась долгая встреча.

4

«И ты гоняешься за легкою весной, ладонью воздух рассекая»⁴. Нет, не только за весной мы гонялись в этом путешествии, но преследовали — по крайней

⁴ О. Мандельштам. «Я в хоровод теней, топтавших нежный луг...»

мере я — еще и более определенную цель: побывать на родине предков. Отец мой родом из Погара, маленького городка в Брянской области, совсем не случайно попавшего в наш вольный маршрут на полпути между Минском и Сумами. Я давно тянулся к этим оборванным корешкам своего рода, но только теперь, в ожидании младенца, был приведен сюда чем-то высшим, нежели свое желание, — силою «дуговой растяжки»: начало требовало сомкнуться с концом. И вот я, по стечению обстоятельств — в день своего рождения, 21 апреля стою в центре Погара, на земле, исхоженной предками, и чего-то жду, на что-то надеюсь — словно в благодарность за то, что я приехал сюда, ко мне навстречу должна двинуться здешняя природа, обнять, приветить как родного или хотя бы подать тайный знак узнавания: вот основа и почва твоя!

Была ранняя, нежнейшая весна, а пыль на дороге уже клубилась тучами от проезжающих машин. Это шелушение земли, это замутнение воздуха — в обычае таких полупоселковых городков, где земля утрачивает здоровую жирность и комковатость — сохнет, болеет, распыляется. Не почва была у меня под ногами, а пыль, «пыль отечества», стягивающая лицо липкой маской.

От синагоги, где прадед мой служил раввином, ничего, конечно, не осталось. Зато сохранилась церковь, куда никто из предков моих не заходил; но даже такая точность со знаком минус была мне драгоценна.

Собственно, никаких других знаний, кроме отрицательных, я и не рассчитывал приобрести, ведь ни место дома не было известно мне, ни прежняя планировка города — ничего. По сути, я приехал узнать то, чем *не было* это место для моих предков. Но уж это я узнал с пугающей точностью.

Мы и раньше много путешествовали: и на Севере бывали, и на Урале, и на Волге, в самых заброшенных городках, самых мусорных поселках, — но таких страшных, нечеловеческих лиц, как здесь, нигде не встречали. На улице Мглинской, где раньше стояла синагога, я случайно встретился взглядом с подростком — и ужаснулся: такая в нем животная немота и равнодушная злоба. Не ко мне, не к кому-то другому, а злоба вообще: к воздуху, домам, деревьям. Жгучий, режущий взгляд — он рассек меня и заскользил дальше, оставляя за собой кровавую набухающую полосу. Почему-то подростки в таких местах больше всего и запоминаются — степень безнадежности, убитости в них резче, что ли. Детям почти все равно, где жить, они везде радостны; взрослые уже намертво приколочены к своему месту, а вот в подростках что-то еще упрямо корчится, пока жизнь их не перерубит...

Еще один запомнился мне: конопатый, рыжий, с растрепанными волосами, в редких здесь очках. Он шел среди сверстников, выделяясь сутулостью, диковинным цветом волос — оробевший павлин в стае диких и злобных уток. У него было то выражение растерянности и неловкости, которое придает даже глупому

лицу выражение интеллигентности. И одновременно я уловил этакую нагловатую и жалкую попыточку быть как все — над чем-то он смеялся и рубил воздух рукой, словно уничтожая невидимого врага. И сердце у меня сжалось от незащитности здешней души, от невозможности осуществиться по-своему. Единственный выбор для нее — между страшным и жалким. Я вдруг узнал себя в этом рыжем подростке — да, в нашем роду ведь были рыжие. Мой отец остался бы здесь, женился бы на местной, и это я, его сын, возвращаюсь из школы, довольный тем, что меня слушают, а не бьют и не дразнят. В следующем году я буду поступать в авторемонтный техникум или финансовое училище... Верность роду, заветам, земле!.. Очертания прошлого, предначертания будущего — все эти призраки, пропитанные пылью и мглой здешних мест, воплотились в растрепанного рыжеволосого подростка, и я вздрогнул, словно очнувшись от страшного сна, когда мое настоящее наконец отделилось от этого возможного поворота судьбы.

А к вечеру того дня, проведенного на родине, почти перед самым отъездом, случилось со мной и долгожданное «знамение» — прямо и лично ко мне обращенное. В безлюдном магазинчике, куда мы зашли купить продуктов в дорогу, ко мне подошел огромного роста детина — придвинулся вплотную, мерно покачиваясь, и выговорил до неправдоподобия правильно, но без всякого выражения: «Интеллигент, кажется?» Я чуть было не ответил, как требует учтивость: «Да,

я такой-то, чем могу служить?» Но он не ждал ответа — придвигался все ближе и тяжело дышал, грудью уже почти упираясь мне в лицо, куда-то тесня, окружая меня и сверху, и спереди, и с боков необъятным своим телом. Л. взяла меня за руку и вывела из этого плотного окружения; очень быстро и вместе с тем крайне медленно, как уходят от опасного животного, стараясь не раздражить и не увлечь его за собой, мы вышли из магазина. Через два часа поезд уже вез нас дальше, к югу.

Так я понял впервые, что ностальгия, погнавшая меня сюда, беспочвенна и неутолима. Есть тоска по далекой, заброшенной в другое пространство родине, но моя родина не где-то далеко — ее просто нет, она исчезла, растворилась во времени, и пыль, поднятая на улице Мглинской, там, где раньше стояла синагога, и есть ее рассеянный прах. Все эти мужчины с торопливыми повадками, громкой и уверенной речью, быстроглазые кудрявые дети, женщины, чьи руки бегают в такт разговору, — все они, окружавшие отца, смыты временем и обратились в тусклую, уже стершуюся память этих мест. И нельзя мне найти умиротворение в своих корнях, любовно обнять и прильнуть, потому что род мой — только во мне, и это ко мне прильнули и прилепились сейчас со всех небес мои предки: я — их земля. Тело мое и есть их родина, единственная родная точка в пространстве. И ко благу моему или горю, но нельзя мне искать свой род в прошлом, в земле — тут все чужое; да и не таким ли —